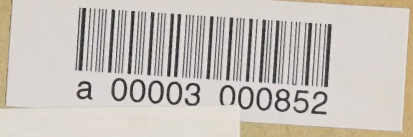
PQ2643
I43
D417
1927

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PQ2643
.I43
D417
1927

25634
/87



This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Form No. 513

ОБРАЩАЙТЕСЬ С КНИГОЙ
БЕРЕЖНО.

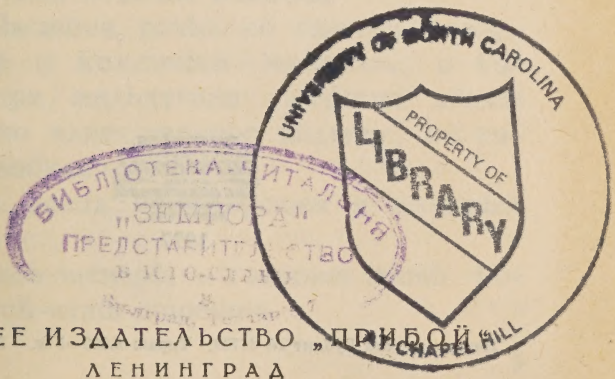
ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК

М. 8970.
PQ2643
.I43
D417
1927

ОТКРЫТИЯ

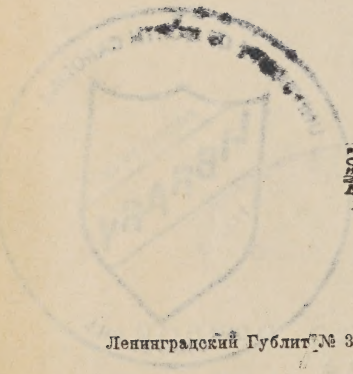
ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Т. ТУРГЕНЕВОЙ

OTKRYTIA



РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД

CHARLES VILDRAC
DÉCOUVERTES



ТИПОГРАФИЯ
РАБОЧЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
„ПРИБОЙ"
ИМЕНИ
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
(в Бриг. командиров 29)
ЛЕНИНГРАД.
1927

Ленинградский Гублит № 37799. Тираж 6.000—5 л. Заказ № 777.

М. С. П.
„ЗЕМГОР"
БИБЛИОТЕКА ЧИТАЛЬНЯ
„ЗЕМГОРА"
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ЮГО-СЛАВИИ
Београд, Теразије 7

Туннель

Прислонившись лбом к окну вагона, ребенок, напрягаясь, смотрит изо всех сил.

Эта тяжелая работа в полях, дороги, лесочки, дружным стадом сбегающие с холмов — все это повторяется постоянно на всем протяжении пути. Он знает теперь все это, как ходячие истины.

Эта быстрая речка со своими ивами, мельницей и каменным мостком, с которого три мальчугана удочками ловят рыбу, — это единственное видение, он никогда не забудет его.

И вот поезд втягивается в длинный туннель.

— Садись теперь, — говорит мать, которой чуть-чуть страшно.

Она берет своего ребенка на руки и силой усаживает его возле себя. Но он вырывается.

— Нет! Я хочу видеть! Хочу видеть!

— Там больше не на что смотреть.

Не на что смотреть! Он хорошо знает, что всегда есть на что смотреть, что каждый предмет, каждая минута — как предложенный подарок ему, умеющему открыть как следует свои глаза и свое сердце.

Он выскальзывает, и вот он снова у вагонного окна.

Если бы он не смотрел, кто узнал бы и полюбил эти слепые своды, эти грустные камни, которые то тут, то там показывают лампочки? А вы, клубы плененного дыма, облака, втиснутые под навес, кто понял бы ваши страдания и вашу черную смерть?

Если бы он не смотрел, если бы он не умел смотреть, чье сердце свидетельствовало бы о вашем милосердии, первые вновь появившиеся лучи, кто воскрес бы вместе с вами?

И если бы даже не на что было смотреть, даже на головокружительную тьму, разве не надо было быть тут для упорного ожидания первого предмета, который можно будет увидеть?

После крайней грани закопченной стены, после последнего желтого фонаря, над которым уже смеется свет, есть угрюмый откос и на нем хилая одинокая акация, протягивающая ветки прямо над входом в туннель.

Оно здесь, это деревцо, не для тех пятисот пассажиров, которые на все время путешествия вперили свои пустые глаза в липкие доски вагона. Оно тут, чтобы осчастливить свежие и верные глаза, которые сторожили ночь, чтобы полней отдаться первой, вновь появившейся листве.

Открытия

Ребенку было семь лет. Он был крошечный, живой, с очень тонкими чертами лица. Он сердился на тех, кто мешал его занятиям и играм, и не всегда отвечал, когда с ним заговаривали. Однако, если его умели заинтересовать, он широко открывал глаза и своим детским, заранее благодарящим голоском, задавал вопросы.

Он уже многое знал.

Его тельце знало прикосновение травы, песка, вспаханной земли, камня, соломы, мужских колен, оглобель больших фур, брезента, свежего и сурового, женских юбок, мягких и теплых. Но что особенно привлекало этого ребенка — это разные способы передвижения. Он уже знал не один,

но жадно искал случая испытать еще новые.

Он смаковал это ощущение неуверенности, это беспокойство, которое овладевает вами, когда ваш босоногий товарищ, такой же почти маленький, как вы, несет вас на спине, постоянно спотыкаясь, и его слабые неуверенные шаги глухо отдаются в грудях обоих.

Так как его отец служил работником на ферме, он не раз восседал на широкой спине рабочей лошади. Иногда громадный зверь на ходу наклонял голову, чтобы почесаться. Тогда мальчик не видел перед собой гривы, прямо перед ним была дорога, и высокий хомут, за который он держался, грубо влек его в пропасть. В такой момент им овладевал ужас и головокружение. Но потом он любил эту пережитую опасность.

Сидеть на чем-нибудь, что катится, было для него счастьем. Он забирался на большие возвращавшиеся порожняком фуры; они так гремели по камням деревенской мостовой, что он не слышал ни своего голоса ни крика. Была чудесная связь ме-

жду этим шумом, движением колес и тряской; вот это, очевидно и нравилось его наивным чувствам. Мелкий сор, оставшийся на дне повозки, обрывки веревок, пустые корзины, — все прыгало; прыгало вместе со всем и его сердце. Когда он тянул: а-а-а-а! — трещотка вертелась у него в груди, и иногда от тряски ему щекотало пятки. Когда в этом грохоте щелкал бич, и возница окликал прохожих, ребенок пьянел от всего этого, ему казалось, что он уже видел все это во сне. Однажды его посадили на велосипед, и в полном восторге он узнал и насладился двумя новыми чудесами: эластичностью и плавностью движения.

Он катался также на тачке, на которой его мать возила белье в прачечную; тачка грохотала, как барабан, и его приводило в восторг, что он ощущал спиной то же самое, что слышал ушами; и когда колесо соскакивало с тротуара и тачка звонко ударяла ребенка, он приходил в восторг и готов был в тачке спускаться с лестницы.

*
* *

В этот день он пошел с отцом на работу. Нужно было взборонить большой участок темной жирной земли.

Две лошади волокли борону. Человек шел сзади, покрикивая на лошадей, палкой отбрасывая вырванные из земли корни. Мальчик шел за ним по борозде, внимательно глядя на борону и на землю. Когда лошади доходили до конца поля и надо было повернуть или, чаще всего, сильными руками приподнять борону, чтобы правильно ее поставить, —отец останавливался, и ребенок наблюдал за ним, взобравшись на большой ком земли, едва поддававшийся под его тяжестью. И в ту минуту, когда лошади снова трогались и странный экипаж не на колесах, а на большущих гвоздях, до половины ушедших в землю, снова начинал двигаться, ребенок, охваченный волнением, подвигался ближе.

Случилось, что лошади, до сих пор шедшие очень послушно, перестали осторожно ступать каждая по своей борозде и начали кусаться и играть. Работник, потом ребенок попробовали успокоить их словами,

однако это не удалось. Тогда человек подбежал и остановил их ударом рукоятки бича по морде, и они смешно задрали голову с забавным видом лошадей, которых ругают. Потом он взял одну из них под уздцы и повел сам.

В течение некоторого времени ребенок шел один за бороной, потом не выдержал, прыгнул, как котенок, на деревянную решетку и уселся на ней.

Она ни катилась ни скользила; это не было похоже и на то, когда тележка съезжает с шоссе на поле люцерны или с подвязанными колесами спускается по траве с холма.

Это было что-то совершенно незнакомое и восхитительное. Все противилось бороне, она сама всеми когтями цеплялась за землю; и все-таки она двигалась вперед. Ребенок чувствовал, как она под ним приводится в движение какой-то неумолимой силой, наперекор всему. Он был восхищен и смущен этим насилием и радостно помогал ему всем своим весом. Его несла на себе борьба, организованная

борьба, оставляющая за собой и победу и порядок.

Лошади тащили его не по земле, а немножко в земле. Он так внимательно прислушивался к этому непрерывному рытью, что ничего не видел перед собой. Он сидел, сжавшись комочком на вороне, когда отец, наконец, заметив его, подбежал к нему с криком и угрозами...

Удар ноги отбросил ребенка далеко на пахоту. Его голова ударилась о большую глянцевитую глыбу земли, которую через короткое время он должен был бы почувствовать глухо рассыпающейся под ним.

Он поднялся с ободранными ладонями. Лошади, борона, человек снова двинулись. Плачущим голосом он выбранил своего отца и напрямик побежал к деревне, засунув конец фартука в рот, чтобы освободить его от набившейся земли.

Стремления

Это городской ребенок. У него слишком красные губы и горящие глаза на бледном личике.

Он возвращается из школы. Он в том классе, который распускают на десять минут позже других и в котором больше всего книг. Он возвращается, наклонившись вперед, с ранцем за плечами. Долго он сидел неподвижный от внимания, с руками, сложенными на голом черном столе. В суматохе сборов, он глубоко набрал воздуха, — наконец, отпущен. Тут его ноздри снова узнали запах конца школьного дня: запах лихорадки, чернил, сырой классной доски — запах, заставляющий грустно вздыхать о больших вакациях.

БИБЛИОТЕКА
М. С. П.
„ЗЕМГОР“

И вот на улице рождающаяся весна оглушает и опьяняет его. Он идет, чуть-чуть пошатываясь, по тротуару—пылью-му, пронизанному мягким влажным светом. Здесь ему хочется растянуться. Мимо проезжает фургон, развозящий покупки. Лошадь идет свободной тяжелой рысью, полный звук ее копыт по торцовой мостовой радует сердце.

Зимой, возвращаясь из школы, он смотрит в окна магазинов или считает фонари, задернутые туманом. Когда идет дождь, он предается безнадежности, заглядывая на ходу в унылые дворы и проходы. Сегодня он любит улицу. Он всматривается в светлое кольцо, окружающее солнце, и в дома, которые сегодня кажутся особенно легкими и счастливыми.

Что это там в конце улицы, на перекрестке? Военный оркестр? Или готовятся к празднику? Или драка? Он ждет происшествия, оно ему нужно. Он вспоминает прошлую весну, когда были выборы; люди спорили на улицах, жадно расхватывали только-что вышедшие газеты; висели боль-

шие красные афиши, с которых еще капал клей, и он читал их вместе со всеми; это были очень серьезные прокламации, в них говорилось о Народе, о Гражданах, о Республике, о Нации, совсем как в учебниках французской истории. Он сейчас же вспоминал Мирабо, запись добровольцев, пруссаков, и его охватывал трепет, который он так любил.

Вот он и у перекрестка — ничего, и не будет ничего. Было только в воздухе... только у него в груди. Вот он входит в длинный двор своего дома. В глубине, в своей конурке подремывает страдающая водянкой привратница, она внушает ему отвращение и страх: он вспоминает крыс.

В первом этаже темно, но чем выше, тем свету, смиренного и преданного, становится больше. Там, наверху, он достает улыбкой даже промерзшие стены и обездоленное дерево ступенек.

Он входит в комнату; его матери нет, он один: его опьянение может продолжаться, может еще расти.

Освободившись от ранца, он уже у открытого настежь окна. Он облокотился, ослабев, и подставил лоб небу.

Под ним расстилаются плоские широкие крыши мастерских, потом двор, потом какие-то невысокие строения, и только за ними уже подымаются высокие стены.

Таким образом ребенок владеет большим куском неба. Но есть еще одна вещь: у прачечной — труба из котельного железа. Тонкая, стройная, она выше всего. Большая часть ее, с четкими контурами глубокого черного цвета, одиноко вырисовывается на чистом небе.

В такие дни, как сегодня, ребенок чувствует в себе нечто волнующее, что душит его, что хотело бы необычайно вырасти. Он не умеет назвать свое страдание. Если бы он был в деревне, он нашел бы самое высокое дерево, он влез бы на самую верхушку и опьянялся бы головокружением, гордясь своими исцарапанными руками. Но это городской ребенок, он свободен только в своих грезах. Для грез у него есть этот кусок неба, окаймленный жалкими домами,

и эта тонкая колонна, ставшая для него исходом и успокоением.

Он смотрит, смотрит. Он совсем близок к небу, и это благодаря трубе, такому чистому контуру этой трубы. Он там наверху, в головокружении, в свежести, которая делает его свободным, как птица. Трубу поддерживают железные проволоки, они кажутся чудесно тонкими и не видно, как они закреплены где-то там, далеко, на крышах. Если бы он захотел, он нашел бы эти места прикрепления и, ухватившись за проволоку, соскользнул бы в пустоту. Внизу соберется много народа, чтобы посмотреть на него и аплодировать ему. Его глаза пытаются следить за одной из проволок, но теряются в небе, радостно подымаясь от горизонта до зенита.

О, небо! Оно освобождено от солнца и тумана. Вот оно, нагое и сосредоточенное, в нем живет весь свет. Оно больше не смеется, но все же счастливо счастьем, трепещущим и изнемогающим.

Ребенок остается совсем один с небом, проникается им, растворяется в нем.

Однако счастье и любовь к такому куску неба слишком большая тяжесть для его сердца.

Он хотел бы спеть песню, которая была бы похожа и на его горе и на небо этого вечера. Он не может...

Но вот труба выпустила немножко рыжеватого, легкого дыма, который нравится небу и еще больше приближает вас к нему.

Но вот, очень высоко, закружились три ласточки, их крик, который они бросают в пространство, звучит торжеством.

Ребенок плачет горькими слезами.

Отдых

Все прохожие останавливаются и задирают головы. Там наверху громко хохочут рабочие.

Почти оконченный дом купается в солнце; леса поддерживают перед каждым этажом досчатые, подвижные, плохо сколоченные мостки. Рабочие все сейчас на них, даже те, что работают внутри: каменщики и малярЫ, цвета обтесанного камня, в голубых штанах, и паркетчики в коричневых фартуках с засученными выше локтя рукавами рубашек. Они все, нагнувшись к земле, роняют крики и смех.

Глаза прохожих спускаются вниз и ищут, чего-то там, у подножия лесов. Ничего, кроме сложенных мешков с цементом, куч песку и синих кирпичей...

А, вот! Из зияющего черного входа выскакивает забеленная блуза. Каменщик бежит и задорно хохочет, его голова мотается от неровностей почвы, его смех изредка заглушается стуком щелкающих сабо. Ну, теперь понятно: другой каменщик гонится за ним со старой кастрюлей с водой в руках.

Прохожие тоже смеются, и вся улица внимательно следит за погоней.

Пусть дела подождут. Пусть хозяева, по поручению которых они бежали, пусть друзья, к которым они шли, пусть эти жалкие расчеты, которыми занимались на ходу, пусть все ждет, пусть подождет и материя, которую шьете вы, мастерицы, столпившиеся у окон напротив. Пусть все подождет, как ждет этот дом. Нужно же узнать, обольет водой этот рыжий, едва удерживающийся от смеха человек бородатого и веселого каменщика, или нет.

Царит утреннее солнце — щедрое, как глоток белого вина. Нужно, чтобы играли, совершенно необходимо, чтобы немножко играли. Если бы не было рабства труда, если

бы жизнь имела другие формы, в такой день все были бы в лугах и только играли бы.

Каменщик, за которым гонятся, два раза обегает кучу кирпича, добегает до кучи песка, хватает полную пригоршню и, не поворачивая головы, бросает назад, но попадает только в собаку, обиженно отбегающую. Над ней громко смеются.

Бегущие кружатся, делают зигзаги и возвращаются в дом: разочарованье, не узнают чем кончится... Наиболее спешащие с сожалением отворачиваются от дома и продолжают свой путь. Но не успевают они сделать и трех шагов, как опять останавливаются. Толпа приветствует бородача, взобравшегося уже на первый этаж и выскочившего на помост. Он пробегает мимо трех окон и снова исчезает, преследуемый по пятам. Теперь все будут ждать. Обмениваются замечаниями:

— Молодец бородач!

— Да, но тому кастрюля мешает бежать.

— Верно! Но ведь у бородача сабо, а у рыжего туфли.

— Только бы он всю воду по дороге не расплескал...

— Послушайте-ка, как они там гогочут. Ага! Вот они уже на втором этаже.

Им уступают место на помосте. Беглец удирает направо: он пойман, окна с этой стороны уже вставлены и закрыты. На конце шаткого тупика, обернувшись спиной к пустоте, он топчется, сжав кулаки. Тот уже подбегает, приветствуемый криками. Но бородач бросается ему навстречу и, ударом ноги по кастрюле, выплескивает всю воду ему в лицо.

Смех доходит до крика и медленно замирает.

Волненье стихает, только еще то тут, то там прорываются взрывы смеха и резкие громкие свистки доведенного до восторга подмастерья.

Там, наверху, прерывая объяснения, облитый вытирается и смеется. Потом он исчезает, и остальные один за другим принимаются за работу.

Кончено.

Те, что на улице, расходятся, к неудовольствию новых прохожих, которые, не решаясь спросить, окружают „свидетелей", к неудовольствию подмастерий, которые должны остаться у места работы.

Но те, что смеялись, не могут сейчас же вернуться к своей одинокой и замкнутой доле. Они еще не могут отграничить на тротуаре свой собственный узенький путь, ни отделить около своей головы замкнутое пространство, где жили и играли их интимные мысли.

Кое-кто завязал разговор со своим соседом. Он не оставит его без предупреждения, не простившись последней улыбкой, веселой шуткой, кивнув головой или притронувшись к шляпе.

Те, кому надо итти в одном направлении, стараются не сразу разойтись. Они идут некоторое время вместе. Они не расстанутся без взгляда, улыбки или последнего вскользь брошенного замечания:

— Ладно! посмотрели и будет!

Найдутся еще два болтуна, которые пойдут вместе до конца улицы, расхваливая ловкость строительных рабочих и рассказывая подвиги штукатуров и кровельщиков.

Любовная маленькая радость может пережить свою причину — когда светит солнце; если каким-нибудь чудом ничто не прогонит ее, возможно, что целый день в нас останется след от нее, какой-то привкус, какой-то намек.

Вот старый портной с тонким лицом. Он поправил свои очки, прижал покрепче платье, которое нес, и снова засеменил. Он хорошо позабавился. Жизнь для него, наверно, спокойна и проста, и душа его как прозрачная вода: ничто не препятствует пронизывающим ее лучам. Она принимает цвет того, что к ней приближается.

Портной переходит на другую улицу, потом еще на новую; он все еще несет свою радость. Вот он уже очень далеко и от пыльного дома и от каменщиков. Он, наверно, о них и не думает, но смех еще живет в его глазах и около рта, как

последний нанесенный штрих и как застывшее довольство.

Теперь, среди обгоняющих и встречающихся ему людей, нет никого, кто бы знал, чему он в одиночку смеется.

Бедная Сюзанна

На углу улицы живет певчий дрозд. Уже три года он сидит здесь в клетке, и каждое утро на рассвете поет свою песенку узника, поет только для себя.

Сегодня утром Сюзанна, которая так рано поднимается на работу, пошла по этой еще спящей улице. Ее каблуки мерно стучат по тротуару. Бедная Сюзанна смущена их стуком, таким громким в безмолвии улицы. Но она не смеет приглушить его, ступая на цыпочки: она будет похожа на воровку. Это было бы еще ужаснее.

Но вот вдруг пение дрозда наполнило утреннюю тишину. Сюзанна не слышит больше своих шагов; они больше не стучат... но что с ней!

Она останавливается; облака наполняют

улицу; это утренний луговой туман; в нем теряются ряды тополей, река еле видна.

Бедняжка Сюзанна видит пастбище у подножия холма. Ее ноги в высокой росистой траве, по которой она каждое утро, позвякивая еще пустым ведром, бегала доить коров.

Она видит зеленую тропинку между двух стен и садик, где сушится белье. Бедняжка Сюзанна видит поросшую мохом крышу и прямой столб дыма над ней и голубей, гуляющих по черепице. Она видит обвивающую двери лозу и кур в соломе. Она видит дом, единственный любимый на свете дом.

Она смотрит, вся вытянувшись; она слушает и смотрит...

На углу улицы хлопает ставень. Дрозд резко умолкает. Человек, зевая, облокачивается на окно и видит, как шагает, как проходит бедняжка Сюзанна.

Шум шагов стихает, стихает. Еще ни одна лавка не открыта. Теперь ничего больше не видно, кроме большого куска желтой бумаги; он грустно кружится по тротуару и останавливается, и трепещет, и снова уносится ветром.

Богатство

Я уже знаю некоторое количество людей; не всех одинаково, не всех в такой мере, в какой один человек может знать другого. Я говорю о всех тех, кого я знаю достаточно, чтобы думать о них с уверенностью и представить себе их лица, когда захочу.

Все стоят того, чтобы их узнали. Нет двух одинаковых голосов, нет двух сливающихся образов. Всегда что-то есть, что мешает забвенью, какой-нибудь недостаток характера, особенность в складе ума или своя черточка в лице.

Я очень хотел бы не забывать никого из тех, кого я когда-либо знал. Я хотел бы найти и сохранить всех тех, кого я

потерял, и хотел бы чтобы вновь приходящие не были заместителями других.

Чтобы каждый день умножал мое богатство и ничего не расстрачивал бы.

Когда я бываю один, я иногда занимаюсь тем, что с удовольствием называю и перечисляю всех тех, кого я знаю. Я бываю похож на ребенка, который только-что начал изучать новый язык и в увлечении хочет перечислить весь список слов, которые он знает.

Так я вызываю в своем воображении десять, двадцать, сто и много больше образов. Я богат и скуп, и ненасытен и улыбаюсь от уверенности в том, что я еще разбогатею...

* *
*

Но где мера знанию?

Когда я выхожу на улицу, я вижу как проходят тысячи незнакомцев. Некоторые сталкиваются со мной, задевают меня, и я смотрю на каждого, однако без надежды запомнить его.

Я думаю о том, что людей на свете так же много, как деревьев; и что есть громадные леса, по которым мне не только не дано пройти, но которых не придется и обнять взглядом.

Свидетельство

Я сбился с дороги в мало знакомом квартале, в поисках улицы, названия которой я слышал в первый раз. Я вижу, что совершенно потерял направление. Теперь самое разумное спросить у кого-нибудь дорогу.

Вон там навстречу мне идет человек. Я еще не знаю, спрошу я у него или изберу другого, я хочу сначала увидеть его лицо.

Хорошо. К этому я могу обратиться: я не оторву его нескромно от мыслей, он ни озабочен, ни деловит, ни задумчив. Наверно, специальность этого человека „ходить по поручениям“, он идет спокойно, не спеша, даже как будто просто гуляя.

Вот мы уже на расстоянии взгляда. Его глаза добродушно принимают все встречные взгляды. Я не колеблюсь.

— Простите, не будете ли вы добры указать мне улицу Дозюле?

Он отвечает на мой поклон, останавливается и с озабоченным видом забирает в руку свою бородку.

— Улица Дозюле, улица Дозюле, подождите-ка... Это, наверно, новая улица...

В эту минуту мимо нас проходит разносчик книг с тяжелым тюком за плечами и с названьем известного магазина на своей кожаной фуражке.

Мой прохожий останавливает его:

— Эй, вы-то уж, наверно, знаете, где улица Дозюле?

Разносчик, напрягая память, сдвигает брови, потом просто говорит:

— Я сейчас найду.

Это высокий малый с могучими руками. Он снимает свой тюк, ставит его на землю, роется в карманах и достает маленький путеводитель.

Я сконфужен и говорю:

— Сколько вам беспокойства!

— Пустяки! Я отдохну пока.

Он перелистывает путеводитель, бормоча сквозь зубы:

— Д... Д... Дозюле...

Пока он ищет, другой высказывает предположение:

— Это, наверно, та улица, что выходит на улицу Марье. Там есть уличка, я ее так и вижу, но я никогда не знал, как она называется.

Мне вдруг приходит в голову, что вот они оба занялись мной и моей улицей, хотя они меня не знают и ничем со мной не связаны; и это наполняет меня радостью и благодарностью.

Разносчик нашел:

— Вот вы и ошиблись, старина, она не выходит на улицу Марье. Дозюле начинается на авеню Альфред-де-Виньи и идет до сквера Пти-Отель. На ней тридцать пять номеров. Какой номер вам нужен, мосье?

— Шестой.

— Тогда вам нужно пройти на авеню Альфред-де-Виньи.

— Это не так просто,— с искренним беспокойством замечает человек с бородкой.

Теперь они оба заняты тем, что выбирают мне кратчайший путь от этого места до авеню Альфред-де-Виньи. Я слушаю и жду с полным доверием, как-будто я чужд спору, как-будто я тут не при чем. Но как я счастлив благодаря им!

Как могу я сомневаться в сердцах всех людей перед этими двумя, занятыми выбором моей дороги и заботой о том, чтобы избавить меня, поскольку возможно, от лишней потери времени и труда.

Они пришли к соглашению. Дорога, выбранная разносчиком, принята. Я должен сначала свернуть в первую улицу налево, однако дальше не так просто. Я утверждаю, что прекрасно понял, но мой советчик чувствует, что я в ту же минуту все позабуду. Он вытаскивает карандаш, находит в кармане клочок бумаги и нацарапывает мне приблизительный план, утверждаемый разносчиком.

Я иду. Я не знаю, как выразить свою благодарность. Я хотел бы помочь раз-

носчику поднять тюк на спину, но он не дает мне на это времени.

Я весело дохожу до места, где должен взять налево, и оборачиваюсь.

Они уже разошлись, они даже не на одной стороне улицы. Но оба остановились и следят за мной глазами, чтобы убедиться, свернул ли я налево.

Если бы я легкомысленно пошел прямо, они окликнули бы меня.

Прежде чем скрыться, я машу рукой в знак приветствия. Потом я рассматриваю маленькую бумажку, свидетеля всей их трогательной заботливости. План не точен, но все названия улиц выписаны, разобрать можно. Я вспоминаю о написанных адресах, какие даются детям.

Теперь я рассматриваю прохожих. Помогли бы они мне так же найти улицу Дозюле? Такие же ли они, как те два человека?

Да, почти все. Сейчас я даже готов поручиться, что они все такие же, как те два. Меня радует эта уверенность в том, что так бывает даже с самыми плохими, без усилия над собой, даже незаметно для

них. Если я остановлю этого гнусного буржуа и попрошу у него „огонька“, он с заботливой готовностью протянет мне папиросу и посмотрит хорошо ли закурилась моя, и мы обменяемся, по меньшей мере, улыбками.

Я сегодня прикоснулся к наиболее скромному сокровищу, оно должно нам служить основанием. Оно не тайно, не скрывается: как воздух и свет, оно явно и всюду.

Спаситель

Нет, этот день был действительно ужасен.

Еще утром он получил это письмо, это злое письмо от бывшего приятеля, причинившее ему боль. На него надо было ответить сейчас же. И еще больней было то, что нужно было подыскивать наиболее злые слова для ответа. Он тотчас же пошел на почту, отправил письмо, но и после этого ему не сделалось легче.

Когда вы получаете письмо, похожее на полученное им, резкое, ищущее ссоры, в котором правда — ваша правда — не понята, вам кажется, что вы не сможете успокоиться, пока ваш ответ не будет написан и отослан. Увы! затем вы будете ждать с тяжелым нетерпением часа, когда

он достигнет цели. А как дышать свободно, если вы знаете, что ответный удар нанесен, что несчастный и проклятый обидчик, в свою очередь, жестоко задет, что он гневно перечитывает ваше письмо и непрерывно думает о вас и ненавидит вас!

Отправив ответ, он стал лихорадочно ждать друга, лучшего друга, единственного, безусловного, приход которого был обещан.

Вот этот сейчас же станет его истинным союзником

Он ждал долго; друг не пришел.

Тогда под упорным, сделавшим его самым унылым из людей, дождем он вышел. Переходя через скользкую улицу, он нелепо упал, испачкав в грязи руки и платье. Две проходившие мимо молоденькие девушки смеялись; а они были хорошенькие.

Весь день его преследовала неудача.

Все грубо оттолкнули его; человек, которого он хотел видеть, не принял его; вернувшись к себе и развернув только-что сделанную покупку, он увидел, что лавочник надул его. Теперь он в тоске ждал,

чтобы кончился этот враждебный, холодный день.

Нет, все ему враждебны или неприступны! Все общество сегодня оказалось жестоким и предоставило его самому себе.

Если бы хоть девушки не засмеялись когда он упал. Если бы кто-нибудь нашелся тут, чтобы поднять ему шляпу и спросить вы не ушиблись?

Он вздрогнул, услышав стук в дверь. Какая еще неприятность? Может-быть, спешный, яростный ответ на утреннее письмо?

Со стесненным дыханием он пошел открыть дверь.

Он увидел перед собою пожилого человека, которого он, конечно, знал, но не мог сообразить, кто это, пока не увидел улыбку и ясные глаза. Это был его сосед. Он никогда с ним не разговаривал, но каждый день встречал и приветствовал на лестнице эти глаза и ласковую улыбку. Старик протянул ему маленькую корзинку, которая была у него в руках:

— Я очень боюсь вас обеспокоить, мосье, но, видите ли, я только-что получил корзину груш. Я не смогу съесть их один и пришел попросить вас, не будете ли вы добры разделить их со мной. Прекрасные фрукты, не правда ли?.. Такие спелые груши всегда страдают при перевозке, и мне, к сожалению, пришлось положить несколько помятых. Вам придется меня извинить, я не мог сделать лучшего выбора.

Старик быстро ушел, сконфуженный слишком горячей благодарностью.

* * *

Медленно, точно с сожалением, он закрыл дверь и остался неподвижно на месте, сжимая в руках, как сокровище, маленькую корзинку, прислушиваясь к тому, как сосед вернулся к себе на другую сторону площадки, как шаги его затихали в глубине квартиры. Ему казалось, что он провожает его.

Потом, с возродившимся сердцем, он побежал поставить корзиночку на стол, на

самый свет. Груши были тяжелые, желтые и душистые. Они были заботливо разложены в два ряда, каждая груша покоилась в голубой бумажке.

Он еще ни до одной не дотронулся. Он не хотел знать, сколько их, он даже не думал о сочных фруктах. Он сел перед полученным подарком чтобы любоваться им и подумать о так неожиданно и так во-время появившейся руке, предложившей его.

Вот: старый сосед услышал, как он вернулся; тогда он начал готовить корзиночку с радостью и желанием доставить удовольствие, сделать хороший сюрприз, и хорошо его сделать. Он сказал себе: „нужно, чтобы это было покрасивей, у меня есть где-то голубая бумага, не попорченная дорогой...“. Он открыл дверь, мелкими шагами перешел площадку, несколько лукавый и уже улыбаясь, вошел к незнакомцу напротив.

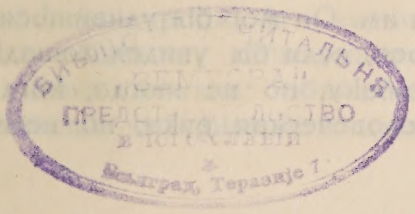
Теперь день незнакомца напротив был спасен. Немилость была снята. Облик мира изменился.

Он встал и подумал: „я сейчас освобожу корзинку, чтобы можно было отнести ее.

Когда он по одному выкладывал фрукты на стол, то заметил, что рукав у него еще в грязи. Он улыбнулся, вспоминая свое падение, и подумал о девушках:

„Нет, они смеялись не зло, если бы я не мог подняться, они первые подбежали бы, перепуганные и сочувствующие".

День осветился, как темное небо, на котором внезапно появился голубой просвет. Он подумал также о полученной и нанесенной утром обиде и решил, что она была продиктована гневом и что даже самые резкие, гневные слова не серьезны и не окончательны.



Вежливость

Проходя по тротуару я кладу руку на голову играющего ребенка. На ходу я оборачиваюсь, чтобы увидеть его удивление. Он не удивлен. Он даже не поднимает на меня глаз, хотя он и не очень занят. А я боялся испугать его. Я был бы огорчен таким равнодушием, если бы не был очарован его непринужденностью.

В самом деле, чем рука человека на его голове должна взволновать его или отвлечь от того, что его занимает?

На улице, где ходят такие же большие люди, как его отец и мать, он среди своих и доверяет им. Он мог бы удивиться и забеспокоиться, если бы увидел лошадь или большую собаку, но не тогда, когда его трогает человеческая рука, но не тогда,

когда с ним говорят на языке его племени.

Когда он неосторожно бежит по тротуару, чтобы бросить бумажку в ручей, и по дороге натыкается на ноги прохожего, тот, внезапно остановившись, подхватывает его в ту секунду, когда он готов был потерять равновесие, поднимает и отставляет в сторону.

Ребенок только на мгновение, которое он тратит на то, чтобы осознать случившееся, останавливается в недоумении, потом он принимает поданную помощь, как нечто вполне естественное. Он не извиняется, не благодарит словами, но он смеется и продолжает свой путь. Его доверие и вера в свою безопасность, — вот его вежливость.

* * *

Кажется, формулы хорошего тона даются обществу господствующим классом. Это вполне объясняет, почему вежливость сегодняшнего дня так мало

отличается от той, которой капиталисты требуют от своих слуг.

Вежливость дарует нам чувство расстояния между нами, как нечто самое желанное; сдержанность, воздвигнутую между нами, как нечто разграничивающее частные владения.

Теперь уж мы больше не жалуемся на слишком фамильярного и надоедливого посетителя, завладевавшего пуговицей нашего жилета, бравшего нас под руку, отмечавшего знаки препинания в своем рассказе хлопками по нашему плечу. Он бывает в свете и усвоил новые обычаи: он не заденет вас, не отскочив от вас и не попросив у вас извинения с искренним раскаянием.

О, теперешние вежливые люди всегда от всего сердца помогают укрепить и поднять выше стену своего соседа.

Они не обратятся к вам, не попросив извинения.

Они не освободят вас от шляпы, не попросив извинения.

Если они окажут вам услугу, сняв с вашего пиджака приставшую к нему нитку,

то сделают это с большим смущением, тысячу раз прося у вас извинения.

За столом, опять-таки не иначе, как спрося у вас извинения, они передадут вам блюдо, и вы тоже, в свою очередь, должны просить у них извинения за принятый на себя труд.

Еще немного, и они станут просить извинения, пожимая вам руку.

Какая обидная боязнь войти на минутку без разрешения в вашу жизнь! какое отдаление, какое недоверие, какая неучтивость!

Я не хочу забора у моего сада, а если он и существует, то пусть научатся через него перепрыгивать, чтобы я мог о нем забыть. Пусть достаточно доверяют моему хорошему приему, чтобы входить ко мне без стука.

Настоящая учтивость, которая меня трогает и возвышает, это та, когда не сомневаются в моей собственной учтивости и с самого начала рассчитывают на нее.

Я не хочу выражать свою вежливость готовыми формулами, годными только для

сердец скупых и скудных. Я хочу быть щедрее и изобрести свою вежливость, хотя бы она выражалась только глазами и улыбкой, или, как у детей, спокойствием, легкостью подхода, привета, приема.

* *
*

Я люблю уличную вежливость, простую, естественную, сердечную, презирающую границы.

Если двое рассеянных столкнутся нос с носом, они не рассыпаются в изъявлениях отчаяния и раскаяния. Они улыбаются и шутят и ничего не имеют против того, чтобы на их счет позабавились другие прохожие.

На площадке омнибуса человек нагнется и крепко подхватит под руку даму, влезающую уже на ходу.

Если бы он сначала спросил: „Простите, разрешите вам помочь?“ женщина, поставленная во враждебные рамки приличий, возможно, сочла бы себя обязанной не „позволить“ и ждать следующего омнибуса.

Если носильщик пробирается в толпе с тяжелым грузом на голове, он громко кричит:

— Поосторожней, ребята!

И проходя, слегка опирается на плечо то одного, то другого, чтобы удержать их на месте и не потерять равновесия.

Кто потребовал бы лучшего? Кто подумает обидеться? Наоборот, те, на кого носильщик так свободно оперся, испытывают чувство внутреннего удовлетворения и следят за ним глазами, пока он не дойдет до цели и не снимет свою ношу.

...Эти эгоисты

...Этих эгоистов, толкающихся и ссорящихся у театральных касс, я видел наблюдающими солнечное затмение.

Некоторые еще с утра заготовили себе закопченные стекла. Они давали их непредусмотрительным, у которых их не было. Они показывали, как надо ими пользоваться. Маленький кусочек стекла давал возможность увидеть пятерым или шестерым. Его обладатель радовался и, когда его благодарили, отвечал:

— Не за что! Не за что! Нужно же всем посмотреть.

Обменивались замечаниями с внезапной и ласковой фамильярностью, вызванной этим явлением, для всех одинаковым, спектаклем, предложенным всем.

А как люди сближаются во время наводнений, сколько великодушия проявляется в отношениях!

Я люблю вспоминать такой случай:

Я сидел на империале трамвая, застрявшего среди других трамваев и множества сжатых, сбитых в кучу экипажей. Из-за участка пути, залитого водой, все движение было приостановлено, и мой трамвай застрял на перекрестке в невылазной тесноте. Он простоял там около часу. Империал был полон, но никто и не думал сходить. Прежде всего, чтобы вырваться, нужно было бы перелезать через грузовики, экипажи, перескакивать через всевозможные повозки. Но главное потому, что все любят подобные происшествия. Все опоздания, все трудности, все несчастья были предвидены каждым.

Мы переживали один из тех необыкновенных моментов, когда самые деловые люди принимают без возражений исключительный случай и перестают быть деловыми.

Река путала по всему городу часы обеда и работы. Она притягивала к себе

все взгляды. Она всем внушала испуг, тревогу и любопытство. Она была причиной большого беспорядка и непоправимых бед. Но она возбуждала неожиданную и прекрасную гармонию, слияние всех с лучшей частью народной души. Она смывала границы, она противилась суровости работы. Она служила предлогом для передышки.

Дамы, обычно приказывающие, а не говорящие с прислугой, начинают разговаривать с ней, как с лучшим другом, если вода зальет их улицу или пламя охватит соседние дома. Так опасность, угрожающая большому городу, в особенности, если люди тут не при чем, более благотворна, гуманна, чем это можно было бы подумать.

Итак, империал моего трамвая сохранял всех своих пассажиров, не возмущающихся ожиданием, довольных в свежеющих сумерках, перед этим хаосом экипажей. Сидели, плотно прижавшись друг к другу.

Начинали болтать с соседом или соседкой. Так как говорили о наводнении, то сосед соседа просто втягивал в разговор своими

сведениями или соображениями. Прислушивались и направо и налево, то там, то сям вставляя слово.

Недалеко от меня, человек рассказывал о собственных несчастьях. Живя в затопленном районе, он должен был с семьей немедленно покинуть дом. Друзья приняли его детей, но не было места ни для него ни для жены. Он искал пристанища.

Все слышали рассказ, потому что голос у него был сильный и выражал отчаяние. Те, кто сидел слишком далеко, спрашивали:

— Что такое? Что он говорит?

Всем рассказали. Сосед человека без пристанища — красный и пузатый — слушал, подергивая усы. Вдруг он большим пальцем сдвинул свою шляпу на затылок, и я услышал, как он сказал:

— Послушайте: я комиссионер; у меня есть маленькая контора — две комнаты — около квартиры. Переезжайте к нам... Да, да. Мы прекрасно устроимся. Постели есть, ничего не может быть проще...

Но в ту же минуту кто-то, стоя на другом конце империала, крикнул:

— Эй, там! Затопленный! Ведь вы из Альфортвиля, у меня уже есть альфортвильцы, место еще есть. Я вас увожу. От чистого сердца, право.

Но тут поднялся комиссионер.

— Вы очень добры, старина, но он пойдет ко мне. У меня, ведь, еще никого нет... Не извольте беспокоиться, благодарю вас. Не правда ли, мосье?.. По рукам, а?

— Но... я, право, не знаю...

— Нет, нет. Мы сейчас пойдем за вашей женой, и вы будете в одном квартале с вашими ребятами... Папиросочку?

Толстяк протянул пачку с папиросами своему гостю, потом наклонился, чтобы предложить направо и налево. Так как разговор стал общим, он сказал:

— Передайте, пожалуйста,... до конца!

Я получил пачку, взял папиросу, поблагодарил издали, и передал дальше...

Рядом со мной сидела маленькая школьница в коротеньком платье, ей было холодно и сидевшая за ней старая дама, которой она до сих пор не знала, заботливо укрывала ей ноги полой своего пальто.

Бегство

Мелкие заботы, как черви, точили его из года в год.

Никогда ни любви ни дружбы! Даже сочувствие не выпадало ему на долю.

Однажды ночью, загнанный, измученный, рыдающий, откинувшись головой на спинку стула, он смотрел на потолок — маленькое пространство, ровное, пустое и спокойное, несмотря на дрожащий желтый круг, отбрасываемый жалкой лампой.

Слезы одна за другой скатывались с его подбородка и падали все в одно место, ему на руку. Холод охватил его, он дрожа закрыл глаза...

... Синее море, солнце, пароход, далекие, далекие города, города теплые, душистые,

где можно укрыться и согреться, как в женском платье...

О, да, туда! Он вскочил с дрожащими губами. Он выбежал из отвратительной меблированной комнаты, с задыхающимся, приглушенным хохотом.

* * *

Он затерялся, смиренный, незаметный, в одном из азиатских портов. У него больше не было ни прошлого ни имени — он даже не посмел иметь постель, он имел только, только жизнь.

Свободный, счастливый, он легко жил изо дня в день мелкой работой, которую даже нельзя назвать профессией.

Он жил счастьем бездомной собаки, которую равнодушно терпят люди и нежно голубит пыль и солнце.

* * *

Но в вечер грустного ветра и дождя, когда лихорадка укладывала его у забора под пальмами, этот человек плакал до изне-

можения, вспоминая, что там, там — в грязном ящике ночного стола,—он забыл фотографию родного дома с матерью на пороге и маленькую книжечку, которую он получил в награду, когда кончил школу.

Щедрость

Я иду пешком к моим друзьям, чтобы позавтракать с ними. Мимо меня пробегает собака, несущая в зубах тщательно перевязанный пакет.

Собака обгоняет меня, и я вижу, что она одна: ей дали поручение, которое она исполняет с увлечением и гордостью. Я хочу знать, куда она идет, и ускоряю шаг. Вскоре я вижу, что она останавливается возле магазина. Без колебания, не выпуская пакетика, собака становится перед закрытой дверью на задние лапы, царапается и ждет. Внутри ее поняли: дверь открывается, она входит.

Это было очень забавно. Продолжая путь, я думаю о том, что расскажу своим друзьям то, что сейчас видел.

Я уже начинаю про себя:

— Представьте себе, по дороге к вам я видел необыкновенную собаку...

Я старательно, с увлечением приготовляю мой рассказ.

Воображенье великодушно приходит на помощь. Оно добавляет, оно украшает. Конечно, дело в том, чтобы заинтересовать. Если я требую у людей вниманья, нужно, чтобы они были удовлетворены, иначе не стоит того...

Я прихожу к моим друзьям. Не могу же я немедленно заговорить о моей собаке, но я не забываю о ней.

Мы садимся за стол. Я пользуюсь минутой молчанья, всегда подбивающей болтунов, и, пока наливают рюмки, я начинаю:

— Представьте себе, по дороге к вам...

Мои друзья знают, что я одарен воображением, меня слушают, ждут. Я бегло продолжаю:

— Собака подходит к двери. Так как дверь закрыта, она делает разочарованную смешную морду; она смотрит направо, налево, нет ли какой-нибудь помощи; потом

принимает решенье: она спокойно кладет свой пакет на землю, поднимается на задние лапы, достает лапой ручку двери и, после многих попыток, ей удается открыть дверь. Она снова берет свой пакет и, торжествуя, входит.

Вот! Все очень довольны моим рассказом, смеются, восхищаются и завязывается разговор об уме животных. Анекдоты сыплются.

Мне не стыдно. Мои добавления не все были предвидены, самые важные я сделал почти невольно в пылу рассказа. Я их замечаю только теперь, и мне нужно их подтвердить в собственных глазах, разделаться со стыдливостью. И я добавляю, призывая воображаемых свидетелей:

— Все прохожие оборачивались...

* * *

Я думаю, что нас много таких, прибавляющих и даже выдумывающих, когда мы рассказываем то, что видели.

Не нужно осуждать нас за это. Не нужно смешивать нас с хвастуном, который восхваляет только собственные подвиги...

Почти всегда мы бескорыстны. Мы, главное, хотим дать возможность ближнему разделить с нами интерес или удовольствие, которое мы испытали; и это благородное чувство заставляет нас увеличить его собственными средствами. Кроме того, мы не врем без подходящего случая, но как всякий рассказчик, который строго придерживается фактов, если они достаточно интересны, мы добавляем и подкрашиваем слишком скупую действительность.

Что же касается удовлетворенного самолюбия, что бывает в результате нашей выдумки, мы бываем к нему чувствительны, но об этом заботимся меньше, чем об удовольствии доставить удовольствие.

Кроме того, мы не всегда врем в одиночку. Бывает, что вдруг мы как будто спелись со многими, чтобы подкрасить истину.

Когда двое или трое из нас вместе присутствовали при каком-нибудь смешном случае и рассказывают об этом в неожиданном сотрудничестве, каждый, при соучастии других, больше или меньше преувели-

чит смешную сторону рассказа. И, если один из нас лучше умеет использовать факты, мы с удовольствием отступаем и предоставляем ему одному рассказывать.

Нет, нас не надо осуждать, надо благодарить нас за нашу щедрость.

Вы очень скупы, очень бесталанны или отвратительно добродетельны, если вы ни одного разу, чтобы понравиться другим, не украсили истины соблазнительной дымкой фантазии.

Событие

Я пошел в один дружественный мне дом, я шел увидеть моего друга.

Ожидая, пока мне откроют, я стоял перед дверью и, представлял себе его лицо, его голос, слова его приветствия. Я уже знал как мы будем потом говорить с глазу на глаз и сколько я пробуду у него.

Не было, ничего чего я не мог бы предвидеть.

И вот: дверь открывается. Мой друг не весь обнаруживается в своем привете, так как у него есть еще один посетитель,— человек, которого я никогда не видел. Внезапно все становится иным. Предстоит открыть час, который я переживу.

Я узнаю имя незнакомца, он узнает мое.

Мы кланяемся, мы смотрим друг другу в глаза: это в первый раз.

Мы открываем друг другу наши голоса. В сознании каждого из нас черты лица, манера здороваться—первое, что западает в память другого.

Если бы один из нас был не чуток и ограничен, если бы мы оба были таковы, то было бы только любезное столкновение; но, конечно, это совсем не так, мы старательно учимся быть вместе.

Неловко, торопливо, страстно, словно делаем первые шаги.

Я хотел бы иметь возможность наблюдать наши лица. Вот мы жадно спрашиваем друг друга; мы предлагаем, даем: ничто не должно нас больше разделять.

Мы говорим друг с другом, как можно больше. Мы должны наспех сказать все друг другу. Мы—два корабля, встретившиеся первый раз и обменивающиеся приветствиями, не зная, будут ли они еще когда-нибудь соседями в порту, поплывут ли когда-нибудь вместе.

Он не здешний. Я узнаю, что он издалека. Он приехал ко мне с другого конца света.

Еще одним человеком больше!

Нужно было, чтоб мы дожили до этой минуты, чтобы встретиться; да-да—ведь я мог прийти к моему другу или слишком рано, или слишком поздно.

Вот уже минута, когда я должен уходить. Мы легко расстаемся, таков обычай. Но мы пожимаем друг другу руки, и это не только по обычаю. Я ухожу с отблеском вновь обретенного сердца. На улицах встречаешь людей, они идут легкой походкой и улыбаются: наверно, с ними случилось то же, что со мной.

Что будет дальше?

Были и раньше такие же встречи, так же меня пленившие. Может-быть, мы были рождены для долгой дружбы; мы никогда больше не встречались. Но бывало и другое: скажите вы, мои самые близкие, не встретились ли и мы в первый раз?

Целая жизнь врывается и исчезает в одну из бесчисленных дверей, которые мы неожиданно открываем и закрываем.

Я уже не забуду этого человека!..

Завещание

— Я тебе завещаю и поручаю мой череп. Тебе придется украсть мою голову. И сейчас же, вываривaньем, едкими солями, ты уничтожишь все, что от меня осталось, ты очистить мою голову, ты в одну минуту состаришь смерть.

Так как, видишь ли, меня ужасает все, что лежит между трупом и скелетом, и для меня было бы менее жутко, если бы моя голова перестала быть жизнью для того, чтобы тут же стать вещью.

Да, именно так: вещью, предметом.

Этот чистый череп с челюстями, снабженными медными скрепками, ты покроешь белым лаком и поставишь в той комнате, где ты работаешь, на этажерку,

среди других вещей, которые ты туда ставишь.

И вот мой череп нашел себе место, он вещь в человеческой жизни.

Вот, я тебя уверяю, наименее мертвый из моих останков. Грохот проезжающих экипажей наполнит его так, что он почти будет шевелиться. Ежечасно свет будет придавать ему цвет и выражение, которые он дает и человеку и самому скромному камню на дороге.

Я даю жизнь вещам, которые каждый день передвигаю, чернильнице, с которой снимаю крышку, окну, которое вытираю.

Делай и ты то же для моего черепа, и пусть он будет для тебя привычной, хоть и ненужной вещью.

Я предпочитаю, чтобы этот мой след стал тем, что живет и движется за счет твоих рук, рук человека, и в атмосфере, где ты думаешь и говоришь,— чем навозом, за счет которого существует животный мир.

Этот череп и ты — вы будете иметь общий воздух, свет, тепло, звуки. Он будет почти так же хрупок, как ты.

Если кто-нибудь, придя повидаться с тобой, возьмет в руки мой череп и будет держать его как большое яйцо, взвешивая его и забавляясь им, не мешай ему.

И если ребенок попросит его у тебя, чтобы приложить ухо к этой большой странной раковине, дай ему.

Сокровище

Я шел высоко над долиной.

Окутанный радостным солнцем, я шел, отдаваясь ветру. Я был как облако, которое реет над холмами и далеко простирает ласку своей тени.

Своим взглядом я благословлял три деревни и все листы и все их хлеба.

Несущимся внизу по дорогам вскачь тележкам я кричал со смехом: „Я вас вижу и шлю вам привет! Я долго буду следить за вами, даже не поворачивая головы".

И вдруг, одурев от радости, я упал на землю. Это был невозделанный участок, заросший мелкими желтыми цветами. Я сидел среди них.

Я никогда не видел более веселых цветов. Ветер заставлял их танцовать бес-

порядочный танец, танец веселых хрупких девчурок, которые не могут стоять спокойно и, тряся кудрями и воротничками, хохочут, закинув голову, и возятся и толкаются.

Надо было побыть с ними подольше.

Но я остался только минутку, чтобы широко раскрыть глаза на их желтизну, такую светлую, как-будто острую, только минутку, чтобы почувствовать их теплое дыхание на своей щеке. И вот я снова на ногах и снова ушел, слишком жадный, чтобы обернуться, слишком возбужденный, чтобы сорвать хоть один цветок...

* *
*

Теперь я не смог бы определить ширину этой долины. Я не помню, как шел спуск к ней. Я не вижу узора дорог и расположения деревень; я не помню, как я сошел к ним. Но иногда в скверные городские вечера, когда день измучает меня, измельчит, когда и в себе я почти не могу разобраться, когда я лежу в постели и не могу заснуть, я зову, из всей глубины моего

отчаяния, вольное лето — оно вернется, жаркое утро — оно все-таки будет, и вся моя кровь будет смеяться! Оно вернется, утро неоспоримой юности и победы. Тогда я вижу участок, заросший желтенькими цветами; я вижу совершенно ясно два из них, самые близкие ко мне, потом и всю их толпу, и их танцы, и их смех, и их свободу, и яркое солнце, которое так им шло.

И вот, вдруг мое сердце тихонько озаряется их радостью, которую я навсегда сохранил, которая мне вечно верна.

Драма

Уже полчаса поезд шел быстрым ходом по суровым, доведенным дождем до отчаянья полям, невозделанным, без деревень. Вдруг ход стал более тревожным, замедлился и тормоза заскрипели для остановки. Я высунулся в дверь до половины. Не было ни станции ни рабочих на полотне. Поезд всходил на мост; на нем он и остановился.

Мост был перекинут через крутую глубокую долину. Мой вагон остановился как раз над водой. Полная река текла среди лугов, прорезанных рядами тополей, ограниченная высокой стеной обрыва, откуда начинался наш мост.

Под закрытым небом, под упорным дождем эта долина была так тосклива, что у меня сжималось сердце. В двух километрах впереди она изгибалась, и я видел, что

река разделялась надвое и исчезала в гуще темной листвы. На ее берегах ни одного дома, ни одного дома и наверху, на холмах.

Я был в моем отделении один и подошел посмотреть к другому окну. Там горизонт был еще ограниченней, и пейзаж еще мрачнее, так как река была шире, а дождь на быстро текущей реке, с длинными тянущимися водорослями мне всегда казался невероятно грустным. И с этой стороны никакого жилья; ни одного живого существа. Содрогаясь, я хотел вернуться к своему прежнему месту, когда заметил полускрытого кустами ребенка с удочкой.

Тут все изменилось, и я остался. Все стало милосердным там, где ребенок, совсем один, спокойно расположившись на берегу реки, удит рыбу. Дождь, который не пугал его, холодный дождь теперь возбуждал у меня только желанье запеть:

Дождик, дождик пуще.
Облака все гуще.

Был ли совсем один этот мальчик? Где его дом? Где его деревня? Может-быть, там, за лозняком? Я вынул бинокль и осмотрел берега. Я ничего не нашел и вернулся к рыбаку. Теперь я его видел так, словно был в двух шагах от него, там, в кустах, пригнувшихся от ветра, в приклонившейся от дождя траве.

Ему было не больше десяти лет. Я с наслаждением смотрел на его лицо, выразительное лицо ребенка. Светлые, густые волосы выбивались из-под старой фуражки. Выставив подбородок, сдвинув брови, приоткрыв рот, мальчик следил за удочкой, вытянув руку, нагибался, чтобы дать удочке как можно больше пространства; когда она доходила до конца, он быстро вытаскивал ее, чтобы пустить в противоположную сторону, пользуясь этой минутой, чтобы чихнуть, подняв голову кверху и наморщив нос, или, чтобы отереть рукой струйку дождя, щекочущую щеку. Он здорово вымок. Его холщевая блуза прилипла к телу, но он и не замечал этого.

Увы! Удочка зацепилась за водоросль. Он дергал ее во все стороны, рассердился и обломил удилище. Он попытался зацепить концом удилища поплавок, который, по всей вероятности, плавал перед ним. Я видел, как он вспрыгнул на камень, вытянулся на-цыпочках, заложив одну руку за спину, другую с удилищем вытянув как можно дальше.

С этой минуты я смотрел уже не ради развлечения.

Я прекрасно видел, как он потерял равновесие, как застыл на мгновение на одной ноге, раскинув руки. Всплеск, легкий водоворот, и удилище поплыло по течению.

Я бросил бинокль и закричал. Но глаза не могли оторваться от этого места, которое внезапно встало на свое настоящее расстояние в этом пейзаже, таком равнодушном, жутком и таком теперь пустынном.

Я кричал, но почти без голоса; соседние отделения были пусты, и, благодаря скверной погоде, стекла почти всюду были спущены. Показался только один пассажир.

Протягивая руку к реке, я кричал против ветра.

— Ребенок упал в воду!

Тот не понимал. Он старался только разглядеть то, что я показывал. В первую минуту я хотел дать тревожный сигнал, побежать предупредить кондуктора, но я ничего не сделал — это было бы совершенно бесполезно.

Я твердо знал, что мы пленники, высоко, высоко над рекой, что мы не имеем никакого права на участие в жизни ни этого моста ни какого-либо другого места на нашем пути. Даже только-что пережитая боль была украдена мной. Я принадлежал железной дороге, у которой и груз, и рельсы, и машины, и вагоны остаются теми же при приезде, что и при отъезде. Это замкнутый мир, отделяющий людей на все время пути. Поезд тронулся, и я остался в нерешительности у окна.

Поезд уносил меня, с лицом, залитым дождем. Ближайшая остановка была далеко, и я видел еще много пейзажей, станций, домов, где происходило много разных вещей.

БИБЛИОТЕКА ... ЛЬНЫЙ
„ЗЕМГОРА"
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ЮГО-СЛАВИИ
Белград, Теразије 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Туннель. 3
Открытия. 6
Стремления. 12
Отдых. 18
Бедная Сюзанна. 25
Богатство. 27
Свидетельство. 30
Спаситель. 36
Вежливость. 42
...Эти эгоисты. 48
Бегство. 53
Щедрость. 56
Событие. 61
Завещание. 64
Сокровище. 67
Драма. 70

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРИБОЙ".
ЛЕНИНГРАД, Ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.
МОСКВА, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

ИНОСТРАННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Бальзак, Онорэ. — Эжени Гранде. Роман. Перев. с французского И. Мандельштама. Стр. 217. Ц. 1 р. 10 к.

Бергис, Симон. — Центр тяжести. Повесть. Стр. 79. Ц. 40 к.

Бехер, Иоганнес. — Банкир на поле битвы. Перев. с немецкого Д. Выгодского. Стр. 99. Ц. 50 к.

Его же. — Грядущая война. Роман. Перев. с немецкого под редакц. Д. Выгодского. Стр. 210. Ц. 1. 20 к.

Брага, Доминик. — 5000 метров. Спортивный роман. Перев. с французского под ред. Г. А. Дюперрона. Стр. 118. Ц. 75 к.

Бржозовский, Ст. — Зарево. Историческая повесть. Сокращ. перев. с польского Евг. Троповского. Стр. 204. Ц. 1 р. 40 к.

Бюисс, Сириэль. — Так было. Роман. Перев. с франц. Д. Лившиц. Под. ред. Н. О. Лернера. Стр. 215. Ц. 1 р. 10 к.

Верга, Джованни. — Осел святого Иосифа. Перев. с итальянского Нины Петровской. Стр. 103. Ц. 50 к.

Витфогель, Карл. — Интересные приключения 12-летнего героя Антонио Маскаро во время крестьянского восстания на Маллорке. Стр. 92. Ц. 50 к.

Дармор, И. — Статисты. Перев. А. Г. Мовшенсона. Стр. 244. Ц. 1 р. 50 к.

Даудистель, Альберт. — Жертва. Роман. Перев. О. Мандельштама. Стр. 159. Ц. 90 к.

Его же. — Сломленные боги. Две повести. Стр. 171. Ц. 75 к.

Доржелес, Ролан. — К далеким берегам. Перев. А. Поляк. Стр. 283. Ц. 1 р. 60 к.

Жеромский, Ст. — Канун весны. Со вступ. статьей Г. С. Каменского. Стр. 318. Ц. 1 р. 10 к.

Золя, Эмиль. — Углекопы. Сокращ. перев. Е. Л. Овсянниковой. Стр. 168. Ц. 80 к.

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРИБОЙ".
ЛЕНИНГРАД, Ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.
МОСКВА, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

Каден-Бандровский, Юлий. — Генерал Барч. Перев. с польского. Предисл. Д. Заславского. Стр. 186. Ц. 1 р. 10 к.

Карко, Франсис. — Горестная жизнь Франсуа Вийона. Роман. Перев. с франц. Б. Д. Левина. Стр. 258. Ц. 1 р. 50 к.

Киплинг, Р. — Отважные мореплаватели. Стр. 85. Ц. 60 к.

Клуссайс, И. — Бунтующий народ. Рассказы. Перев. с латышского Э. С-на. Со вступит. статьей И. Эйдука. Стр. 151. Ц. 60 к.

Конан-Дойль, А. — В страну чудес. Перев. О. Н. Цельхерт. Изд. 2-е. Стр. 134. (Печатается.)

Константэн-Вейер, М. — Шквал. Перев. с французского М. П. Зигомала. Стр. 190. Ц. 1 р. 30 к.

Кордэ, М. — В Триконии. Перев. с французского А. Поляк. Под редакцией Д. Выгодского. Стр. 132. Ц. 70 к.

Корчак, Ян. — Приключения короля Матюша. Повесть. Перев. с польского. Стр. 250. Ц. 1 руб.

Леруа, Э. — Юный мститель. Повесть из жизни французского крестьянства. Стр. 155. Ц. 60 к.

Лоеле, Конрад. — Цюллингер и его выкормки. Перев. с немецкого. Стр. 122. Ц. 50 к.

Манн, Томас. — Исповедь каторжника (Детство преступника). Перев. Т. Жирмунской. Под ред. А. Н. Горлина. Стр. 91. Ц. 50 к.

Метсанурк, Мапт. — Без бога. Перев. с эстонского. Стр. 61. Ц. 35 к.

Надье, Андор. — Кровавый вихрь. Перев. А. Мовшенсона. Стр. 159. Ц. 85 к.

Нексэ, Мартин Андерсон. — Революция женщин и др. рассказы. Перев. О. Мандельштама. Стр. 101. Ц. 70 к.

О'Флаерти, Л. — Бродяга. Перевод с англ. и с предислов. А. Смирнова. (Печатается.)

Пулайль, Анри. — Мир заключен. Перев. с французского К. И. Варшавской. Ст. 166. Ц. 1 руб.

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРИБОЙ“.
ЛЕНИНГРАД, Ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.
МОСКВА, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

Пуль, Эрнст. — Гавань. Роман. Стр. 310. Ц. 1 р. 20 к.

Рот, Иосиф. — Мятеж. Роман. Перев. с немецкого Г. Генкель. Стр. 101. Ц. 50 к.

Его же. — Отель Савой. Роман. Перев. с немецкого с предисл. Г. Генкель. Стр. 113. Ц. 50 к.

Синклер, Уптон. — В поисках правды. Стр. 130. Ц. 60 к

Его же. — Дебри. Стр. 269. Ц. 1 р. 25 к.

Его же. — Деньги. Роман. Перев. с английского. Стр. 143. Ц. 80 к.

Его же. — Джимми Хиггинс. Соц. роман из эпохи мировой войны. Перев. с английского Э. К. Бродерсен. Стр. 228. Ц. 1 р. 10 к.

Его же. — Жизнь на развалинах. (Комедия 2000 года). Перев. с английского А. д'Актиля. Стр. 109. Ц. 60 к.

Его же. — Искусство Маммоны. Стр. 277. Ц. 1 р. 25 к.

Его же. — Король-Уголь. Роман. Стр. 260. Ц. 1 р. 20 к.

Его же. — Пьесы. Перев. с английского А. д'Актиля. Стр. 198. Ц. 1 р. 20 к.

Его же. — Юг и Север. Перев. с английского. Стр. 212. Ц. 1 р.

Струг, Андржей. — История одной бомбы. Повесть из жизни революционной Польши. Перев. с польского Е. Троповского. Стр. 176. Ц. 90 к.

Его же. — Люди подполья. Сборник рассказов из жизни революционной Польши. Перев. с польского Е. Троповского. Стр. 167. Ц. 75 к.

Туссель, Жан. — Пьер Мюрай. Перев. с французского К. Варшавской. Стр. 136. Ц. 75 к.

Уайт, Уолтер. — Удар по кремню. Сокращ. перевод с английского. Стр. 194. Ц. 90 к.

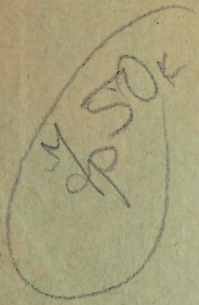
Рабочее Изд-во „ПРИБОЙ“.
Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.
Москва, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

Русская художественная литература.

Айзман, Д. — Редактор Солнцев. Повести и рассказы. Ц. 1 р. 50 к.
Алексеев, Михаил. — Большевики, 3-е изд. Ц. 1 р. 10 к.
Аросев, А. — Никита Шорнев. Повесть. Ц. 1 р.
Беляев, Сергей. — Заметки советского врача. Ц. 80 к.
Его же. — Как Иван Иваныч от большевиков бегал. Ц. 50 к.
Горный, Виктор. — Беспризорный круг. Повесть. Ц. 70 к.
Грабарь, Леонид. — Лахудрин переулок. Ц. 60 к.
Ефимов, А. — Вороненок. Ц. 1 р. 50 к.
Иванов, Всеволод. — Дыхание пустыни. (Печат.)
Иванов, П. — От станка к баррикаде. Повесть из эпохи 1905 года. Ц. 1 р. 40 к.
Карпов, Мих. — Апрельские прели. Повести и рассказы. Ц. 75 к.
Козаков, Мих. — Попугаево счастье. Ц. 50 к.
Его же. — Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы. 2-е изд. Ц. 80 к.
Его же. — Мещанин Адамейко. Ц. 1 р. 50 к.
Кологривский, Иван. — Бродячее. Рассказы. Ц. 55 к.
Коржинский, Н. — В зеленях. Ц. 50 к.
Коробов, Яков. — Катя Долга. Ц. 1 р.
Его же. — Земляная порода. Повесть. (Печатается.)
Его же. — Дёма Баюнов. Повесть. (Печатается.)
Лавренев, Борис. — Ветер. 3-е изд. Ц. 1 р.
Его же. — Полынь-трава. Ц. 1 р. 10 к.

Рабочее Изд-во „ПРИБОЙ“.
Ленинград, ул. Герцена, 15. Тел. 217-79.
Москва, Лубянский пассаж, 46—49. Тел. 2-24-09.

Лавренев, Борис. — Шалые повести. Ц. 85 к.
Его же. — Рассказ о простой вещи. Ц. 30 к.
Либединский, Юр. — Комиссары. Ц. 1 р. 10 к.
Лидин, Вл. — Пути и версты. Ц. 1 р. 50 к.
Нетаев, Я. — „1905 г.“. Повесть. Ц. 85 к.
Никитин, В. — На детской каторге. Ц. 90 к.
Никифоров, Георгий. — Мзгла. Повесть. Ц. 75 к.
Его же. — Или-или... Повести и рассказы. Ц. 1 р. 60 к.
Его же. — На пути. Повести и рассказы. Ц. 80 к.
Омельченко, А. — Великая смута. Роман. Ц. 1 р.
Орловский, Вл. — Машина ужаса. Научно-фант. повесть 2-е изд. Ц. 85 к.
Пучков, А. — Зверинец. Повесть. Ц. 50 к.
Его же. — Яблочко. Рассказы. Ц. 50 к.
Романов, Пантелеймон. — Русь. Роман, ч. 1-я. Ц. 1 р. 50 к.
ч. 2-я. Ц. 1 р. 50 к.
ч. 3-я. Ц. 1 р. 50 к.
Семенов, Алексей. — На перекрестке. Рассказ. Ц. 45 к.
Туманный, Д. — Черное золото. Повесть. Ц. 30 к.
Урин, Дмитрий. — Шпана (отчаянные компании Сеньки Луковского). Повесть. 2-е изд. Ц. 45 к.
Фибих, Даниил. — Святыни. Повесть. Ц. 75 к.
Хаит, Давид. — Мост. Повесть. Ц. 40 к.
Чернятин, В. — Прыщ. Повесть. 2-е изд. Ц. 75 к.
Форш, Ольга. — Московские рассказы. Ц. 75 к.
Ее же. — Одеты камнем. Ц. 1 р. 90 к.
Чесс, М. — „Елоп“. Ц. 1 р. 35 к.
Четвериков, Дм. — Бурьян. Повести. Ц. 1 р. 10 к.
Шагинян, Мариэтта. — Избранные рассказы. Ц. 1 р. 50 к.
Ее же. — Своя судьба. Роман. (Печатается.)
Шпынарь, Семен. — Коренной. Роман. Ц. 90 коп.
Яровой, П. — Первая песня. Рассказы. Ц. 60 коп.



UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00003000852